

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

СОЕД. ШТ. СЕВ. АМЕРИКИ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ЭДГАРА ПО

EDGAR ALLAN POE

1809—1849



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЭДГАР ПО

РАССКАЗЫ

ТОМ I

ПЕРЕВОД М. А. ЭНГЕЛЬГАРДА



БЕРЛИН МСМХХІІІ

ОВАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ.

„Egli e vivo e parlerebbe se non osservasse la regola del silenzio“¹⁾.

(Надпись на итальянской картине св. Бруно).

Лихорадка моя была сильна и упорна. Я перепробовал все средства, какие только можно было достать в дикой области Апеннин, и все без успеха. Мой слуга и единственный помощник в уединенном замке был слишком нервен и неловок, чтобы пустить мне кровь, которой, правда, я и без того немало потерял в схватке с бандитами. Не мог я также послать его за помощью. Наконец, я вспомнил о небольшом запасе опиума, который хранился у меня вместе с табаком: в Константинополе я привык курить табак с этим зельем. Педро подал мне ящик. Я отыскал в нем опиум. Но тут возникло затруднение: я не знал, сколько его отделить на прием. При курении количество было безразлично. Обыкновенно я наполнял трубку наполовину табаком, наполовину опиумом, перемешивал и, случалось, выкуривал всю эту смесь, не испытывая никакого особенного действия. Случалось и так, что, выкурив две трети, я замечал признаки умственного расстройства, которые заставляли меня бросать трубку. Во всяком случае, действие опиума проявлялось так постепенно, что не представляло серьезной опасности. Теперь случай был совсем другой. Я никогда еще не принимал опиума внутрь. Мне случалось прибегать к лаудануму и морфию, и относительно этих средств я бы не стал колебаться. Но с употреблением опиума

¹⁾ «Он жив и заговорил бы, если бы не соблюдал обета молчания».

я вовсе не был знаком. Педро знал об этом не больше меня, так что приходилось действовать наудачу. Впрочем, я не долго колебался, решившись принимать постепенно. На первый раз, — думал я, — приму очень маленькую дозу. Если она не подействует, буду повторять до тех пор, пока не уменьшится лихорадка, или не явится благодетельный сон, который был крайне необходим для меня, но уже целую неделю бежал от моих взволнованных чувств. Без сомнения, это самое волнение — смутный бред, уже овладевший мною — помешало мне уразуметь нелепость моего намерения устанавливать большие или малые дозы, не имея никакого масштаба для сравнения. Мне и в голову не приходило, что доза чистого опиума, которую я считаю ничтожной, на самом деле может быть огромной. Напротив, я хорошо помню, что с полной уверенностью определил количество, необходимое для первого приема, сравнивая его с целым куском опиума, находившимся в моем распоряжении. Порция, которую я проглотил без всяких опасений, представляла очень малую часть всего куска, находившегося в моих руках.

Замок, в который мой слуга решился вломиться силой, лишь бы не оставить меня, раненого, под открытым небом, был одной из тех угрюмых и величавых громад, которые бог знает сколько веков хмурятся среди Апеннин, не только в воображении мистрисс Ратклифф, но и в действительности. Повидимому, он был покинут хозяевами очень недавно и только на время. Мы выбрали комнату поменьше и попроще в отдаленной башенке. Обстановка ее была богатая, но ветхая и старинная. Стены были увешаны коврами, разнообразными воинскими доспехами и современными картинами в богатых золотых рамах. Эти картины, висевшие не только на открытых стенах, но и по всем закоулкам, созданным причудливой архитектурой здания, возбуждали во мне глубокое любопытство, быть может, возбужденное начинающимся бредом, так что я велел Педро закрыть тяжелые ставни (ночь уже наступила), зажечь свечи в высоком канделябре, стоявшем подле кровати, и отдернуть черный бархатный полог с бахромой, закрывавший постель. Я рассчитывал,

что если мне не удастся уснуть, то буду, по крайней мере, рассматривать картины и читать их описания в маленьком томике, который оказался на подушке.

Долго, долго читал я — и пристально, благоговейно рассматривал. Часы летели быстрой и чудной чередой, — наступила полночь. Положение канделябра казалось мне неудобным и, не желая будить уснувшего слугу, я с усилием вытянул руку и переставил его так, чтобы свет ярче освещал книгу.

Но эта перестановка произвела совершенно неожиданное действие. Лучи многочисленных свечей (их было действительно много) упали в нишу, которая, до тех пор, была окутана густою тенью от одного из столбов кровати. Я увидел ярко освещенную картину, которой не замечал раньше. То был портрет молодой девушки, в первом расцвете пробудившейся женственности. Я бегло взглянул на картину и закрыл глаза. Почему, я и сам не понял в первую минуту. Но пока мои ресницы еще оставались опущенными, я стал обдумывать, почему я опустил их. Это было невольное движение с целью выиграть время для размышления, удостовериться, что зрение не обмануло меня, унять и обуздать фантазию более надежным и трезвым наблюдением. Спустя несколько мгновений, я снова устремил на картину пристальный взгляд.

Теперь я не мог сомневаться, что вижу ясно и не обманываюсь, потому что первая вспышка свечей озарившая картину, повидимому, рассеяла сонное оцепенение, овладевшее моими чувствами, и разом вернула меня к действительной жизни.

Как я уже раз сказал, то был портрет молодой девушки; голова и плечи, в виньеточном стиле, говоря технически, напомиавшем стиль головок Селли. Руки, грудь и даже кончики золотистых волос незаметно сливались с неопределенной, но глубокой тенью, составлявшею фон картины. Овальная вызолоченная рамка была украшена филигранной работой в мавританском стиле. Живопись представляла верх совершенства. Но не образцовое исполнение, не божественная прелесть лица потрясли меня так внезапно и так могущественно.

Менее всего мог я допустить, чтобы моя фантазия, пробудившаяся от полудремоты, приняла это лицо за живое. Я сразу увидел, что особенности рисунка, стиля, рамы должны были уничтожить подобную идею в миг возникновения, не допуская даже мимолетного самообмана. Упорно раздумывая об этом, я провел, быть может, около часа, полусидя, полулежа, и не сводя глаз с портрета. Наконец, насытившись тайной художественного действия, я откинулся на постель. Я убедился, что очарование картины заключалось в совершенной жизненности выражения, которое в первую минуту поразило меня, а потом смутило, подавило и ужаснуло. С глубоким и благоговейным страхом я поставил канделябр на прежнее место. Устранив, таким образом, причину моего волнения, я торопливо перелистал томик с описаниями картин. Отыскав номер, под которым значился овальный портрет, я прочел следующие странные загадочные строки:

«Она была девушка редкой красоты и столь же веселая, как прекрасная. В недобрый час увидела она, полюбила и сделалась женой художника. Он — страстный, прилежный, суровый и уже нашедший невесту в своем искусстве, а она — девушка редкой красоты, столь же веселая, сколько прекрасная; вся — радость и смех; резвая, как молодая лань, полная любви и ласки ко всему, ненавидевшая только свою соперницу — Искусство; пугавшаяся только палитры, кистей и других досадных инструментов, отнимавших у нее возлюбленного. Ужасным ударом было для новобрачной услышать, что художник желает снять портрет даже с своей молодой жены. Но она была кротка и послушна, и покорно сидела целые недели в высокой темной башне, где свет только сверху струился на бледное полотно. Он же, художник, вложил всю свою душу в это произведение, которое подвигалось вперед с часу на час, со дня на день. Он был страстный, дикий и своенравный человек, поглощенный своими грезами; и не хотел он видеть, что свет, так зловеще озарявший уединенную башню, губил здоровье и душу его молодой жены, что она таяла на глазах всех, и только он один не замечал этого. Но она улыбалась и не хотела жаловаться, так как видела, что художник (который поль-

зовался высокой славой) находил лихорадочное и жгучее наслаждение в своей работе, и дни и ночи трудился над портретом той, которая так любила его и все-таки томилась и чахла со дня на день. И правда, те кто видел портрет, говорили вполголоса о чудесном сходстве и находили в нем доказательство не только таланта художника, но и его глубокой любви к той, которую писал он с таким совершенством изумительным. Но, когда работа уже близилась к концу, в башню перестали пускать посторонних, потому что художник предавался работе с безумным увлечением, и почти не отводил глаз от полотна, не глядел даже на лицо жены. И не хотел он видеть, что краски, которые он набрасывал на полотно, сбегали с лица той, которая сидела подле него. И когда прошло много недель, и оставалось только довершить картину, тронув кистью рот и глаза, дух молодой женщины снова вспыхнул, как пламя угасающей лампы. И вот, последний мазок сделан, последний штрих положен, и на мгновение художник остановился, очарованный своим творением, но в ту же минуту, еще не отрывая глаз от портрета, затрепетал, побледнел, и ужаснулся, и, воскликнув громким голосом:

— Да это сама жизнь, — быстро обернулся, чтобы взглянуть на свою возлюбленную, — она была мертва!»